

на литературном посту

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие второму пленуму правления
РАПП'а. ТАПП'у надо помочь (передовая).
И. Гроссман-Рошин — Дни нашей жизни. А. Гур-
штейн — Один из первых (о В. Шулятикове).
Т. Костров — В бездорожья эпохи (о творчестве
Чехова). И. Нович — «Или — или». А. Тара-
сенков — Шведов-прозаик. Е. Левицкая —
Еще о молодежи. А. Исбах — В дороге (о М. Пла-
тошкине). А. Михайлов — Классовая борьба на
изо-фронте. Библиография. Отзывы о книгах:
«Звенья» — альманах брянской ассоциации
пролетписателей. «Альманах ЗИФ'а» № 4 и
№ 5. Илья Ильф и Еvg Петров — «Двенадцать
стульев». Д. Крептюков — «Пух-перо». С. Ма-
лашкин — «Шлюха». Н. Крашевский — «По сту-
пенькам». Д. Айзман — «Земляки». Т. Честер-
той — «Диккенс». Ленин и искусство. Н. Фатов —
«Пушкин и декабристы». И. Некрасов — Города
Московской губернии».

1929 СЕНТЯБРЬ

18

МОСКВА
ГОСИЗДАТ

В БЕЗДОРОЖЬИ ЭПОХИ

(К 25-летию со дня смерти А. П. Чехова)

Т. Костров

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЮБИЛЕЯХ И КЛАССИКАХ ИЛИ КАК КОЛЬЦОВ РАЗГРИМИРОВАЛ ЧЕХОВА

Потапенко описывает в своих воспоминаниях о Чехове следующую сценку:

«Мне помнится один приезд в Москву покойного Григоровича. В Петербурге был только что справлен его юбилей. Так как писатель иногда помещал свои вещи в «Русской мысли», то В. М. Лавров захотел устроить ему в Москве «фильмальное чествование»...

Само собой разумеется, был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича.

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой, повидимому, речи: «Глубокоуважаемый, досточтимый писатель... мы собрались здесь тесной семьей... наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый...

«— Что это ты? — спросил я.

— А это из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича...»

Мы невольно вспомнили эту сценку, когда читали статью Кольцова «Чехов без грима», посвященную 25-летию со дня смерти Чехова («Правда», 1928 г., № 163).

Статья эта как будто специально написана по образцу чеховского диалога.

Нам представился юбилейный стол, окруженный «дружной писательской семьей». Приглашенные бережно обнимают маститого юбиляра, запивая обильно, чем в таких случаях полагается.

Но вот встает т. Кольцов, откашливается и, обращаясь к юбиляру, начинает:

«Глубокоуважаемый и досточтимый Антон Павлович... Мы собрались здесь тесной семьей... Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый... Ваше активное сочувствие рабочему движению, уважаемый Антон Павлович... Ваши пьесы... эти веселые, бичующие комедии... Вы, как полная противоположность чеховским интеллигентам, как смелый и беспощадный сатирик...»

Все кричат ура и жмут руки юбиляру...

Но ура никто не кричал, и не жали руки юбиляру, да и юбиляра не было, а было 25-летие со дня смерти Чехова, и была статья Кольцова, написанная по этому случаю.

Статья эта настолько интересна, что мы считаем нужным изложить ее подробнее. От нее лучше всего отталкиваться, чтобы прийти к правильной характеристике Чехова, его эпохи и его класса.

Основная мысль статьи Кольцова заключается в противопоставлении Чехова миру его героев. Чехов был в свое время загримирован под «чеховского интеллигента». На самом деле, он — полная противоположность тогдашней интеллигенции. Чехова нужно разгримировать.

Предоставим слово самому Кольцову.

«Писатель, который с неумолимой художественностью и объективной материалистической правдивостью, исчерпывающе, как никто, до ногтей, до последнего вздоха вскрыл дряблую, немощную психику русского среднего обывателя... этот писатель сам причислен к своим героям, назван их певцом и выразителем. В этом величайшая несправедливость, совершенная над Чеховым его современники.

И эту несправедливость должна исправить наша историческая, объективная в отношении Чехова и чеховских героев эпоха...

Враждебное непонимание отношения Чехова-автора к его собственному материалу началось от ныне неведомого, а некогда грозного критика Скабичевского, величественно спрашивавшего в печати: «Есть ли у господина Чехова идеалы?» Она продолжалась через народническую критику во главе с Михайловским, а затем через буржуазно-либеральную дотянулась до самой революции...

Образ Чехова осел, как образ литературного водителя тоскующих и неприспособленных лишних людей, как чувствительного импрессиониста, знающего только полутона, пишущего вполголоса...

Этот образ искажает его носителя.

Переходя к характеристике отдельных сторон чеховского творчества, Кольцов пишет:

«А рассказы о деревне— разве они не дадут классическую, умную, сильную и безотрадную картину дореволюционной деревни, не менее острую и гораздо более действительную, понятную нам, чем Успенский, Златовратский, Решетников?»

Личная биография Чехова безупречна, все соприкосновения его с общественной политической жизнью отмечены активным сочувствием к формирующемуся рабочему движению и его деятелям (?! — Т. К.).

Пьесы Чехова — это «веселые, бичующие комедии».

Неужели же крупнейший писатель-общественник, смелый, беспощадный сатирик предшествовавшей нам эпохи... даже в 25-летнюю годовщину своей смерти останется загримированным чужими руками призраком, с неправильно присвоенными документами «певца сумеречных людей»?

Нет, Чехов должен быть разгримирован.

Эти сравнительно длинные выписки понадобились нам потому, что данная Кольцовым характеристика основных сторон чеховского творчества, по нашему глубокому убеждению, ничего общего с реальным Чеховым и марксистской оценкой Чехова не имеет.

Но дело не только в этом. Статья Кольцова представляет не узко-чеховский, а более широкий общественный интерес.

С некоторых пор у нас устанавливается своего рода обычай гримировать классиков под нашу эпоху, но от этого наша эпоха как-то искусственно перемещается на десятилетия назад.

Некоторые критики и почитатели талантов хотят каждого классика, юбилей которого мы отмечаем, записать если не прямо в партию, то уж непременно в сочувствующие («активно сочувствовал рабочему движению»).

Так было с Толстым (особенно в начале юбилейных торжеств), так может случиться с Чеховым, если последовать примеру Кольцова. Этой тенденции должен быть дан решительный отпор.

Внимательнейшее отношение к старой культуре вовсе не предполагает гримирование ее под формирующуюся пролетарскую культуру.

Изучение классиков — хорошее дело. Но изучение тем отличается от ученичества, школярства и эпигонства всех видов, что оно связано с большой критической работой. Марксистская критика должна идти за классиками по пятам, вскрывая их социальную обусловленность и классовую ограниченность, проливая таким образом новый свет на эпоху, выразителями которой они были.

Можно спорить о том, много или мало мы изучаем классиков, но вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что мы изучаем их до сих пор плохо.

При этом самую печальную роль играют здесь юбилеи и различные литературные торжества, когда «прекрасные чувства» зачастую берут верх над марксистским анализом писателя и его эпохи.

Изучая классиков, некоторые наши литераторы и критики забывают о классах.

Во-первых, они тщательно сохраняют «табель о рангах», установленный буржуазной традицией и освященный либеральным канонам.

Сошлемся хотя бы на практику последних лет. Мы очень торжественно отпраздновали Толстого и Пушкина, но не сумели привлечь широкого общественного внимания к юбилеям Чернышевского

и Некрасова. Теперь мы отмечаем Чехова, но забываем писателей-народников.

А между тем, здесь нужно вести не «охранительную», а более активную политику, производя, так сказать, «перетарификацию» классиков под нашим углом зрения.

Во-вторых, на юбилеях и поминованиях некоторые наши литераторы поют с чужого голоса, выключаются из революционных традиций, переходят на другую магистраль. Так было с годовщиной Толстого, когда «поздравители» из «Огонька» и некоторых других журналов на радостях совершенно забыли о той борьбе с толстовством, которую десятилетия вели русские марксисты, и вместо продолжения критики толстовства на основе новейшего конкретного материала начали перепевать если не самого Толстого, то либеральные легенды о нем.

Есть у нас и церемониймейстеры, специализировавшиеся на литературных торжествах. Они созывают оставшихся в живых родственников классиков, сажают их на почетные литературные места (как это сделала «Красная новь» с родственниками Толстого), торжественно представляют дежурного классика «народу» и говорят:

— А вот еще у этого поучитесь! Пользительно!

В наиболее же затруднительных случаях, когда классик решительно чужд или даже откровенно враждебен нам, успокоительно прибавляют, что учиться нужно «форме», изолируя форму от содержания, отвлекаясь от ее «социальной функции» и тем самым культивируя эпигонское копирование вместо критической переработки.

Изучение классиков, поставленное в определенные рамки, не заслоняющее от нас сегодняшних задач, а подчиненное им, расширяет общественно-политический горизонт нашей молодежи и вооружает ее для текущей борьбы.

Но эпигонское ученичество, проводимое юбилейно-компанейским образом, без критической переработки наследства и углубленного марксистского анализа дает только отрицательный результат.

Кольцов в статье «Чехов без грима» делает шаг в этом направлении.

Резюмируем в нескольких словах, как характеризует Кольцов общественно-политический и творческий облик Чехова...

1. Чехов — совершенная противоположность всем «чеховским интеллигентам».

2. Все соприкосновения его с общественной жизнью отмечены активным сочувствием к рабочему движению.

3. Он дает картину дореволюционной деревни не менее острую, гораздо более действительную, чем Успенский, Златовратский, Решетников.

Слов нет, вместо старого бразовского портрета Кольцов нарисовал новый, совершенно оригинальный портрет Чехова. Портрет называется — Чехов без грима и выставлен в связи с 25-летием со дня смерти Чехова. У него есть все достоинства, кроме одного: соответствия оригиналу.

ПИСАТЕЛЬ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАУЗЫ

Чехов — отобразитель большой паузы в развитии революционного движения в России.

История делает такие паузы перед стремительными прыжками. В России паузы были наиболее продолжительны, но зато и прыжки особенно высоки.

Николай I пришел к власти, разгромив декабристов, представлявших в основной своей струе прогрессивную часть дворянства, изолированных от массы своего класса, не поддержанных слабой еще буржуазией и не искавших опоры в крестьянстве.

Но за четверть века николаевской реакции происходит радикальная смена действующих лиц и классов. Военный разгром России в Крымскую кампанию открывает период нового революционного подъема, во главе которого становится разночинец, вышедший из демократических низов и враждебный не только крепостничеству, но и эпигонам дворянского либерализма.

Александр III, поднявший корону своего отца из лужи крови на Екатерининском канале, подавляет революционное народническое движение и берет в железно разночинную интеллигенцию, героическая борьба которой не была поддержана крестьянской революцией.

Но в сумерках победоносцевской реакции происходит новая смена действующих лиц: на политическую арену выступает рабочий класс — гегемон революции и вождь поднимающегося крестьянства.

Чехов — писатель 80-х и 90-х годов, выразитель дум и настроений мелкобуржуазной интеллигенции, второй большой паузы в истории революционного движения России XX века.

Маленький сборник, подводящий итоги кратковременной деятельности Антоши Чехонте, вышел в 1884 г. Умер Чехов в 1904 г. Это не только хронологические рамки. Чеховские даты совпадают с узловыми пунктами, критическими точками в истории России и русской общественной мысли.

Чехов вошел в литературу после разгрома революционного народнического движения, а умер накануне революции 1905 г. Его литературная деятельность протекала в период общественной реакции 80-х, 90-х годов. Сам Чехов был знаменем этой эпохи, ее певцом и ее жертвой.

80-е годы — эпоха стихийного общественного отлива. Шторм 70-х годов стих. Попытка разночинной интеллигенции опереться в борьбе с самодержавием на крестьянство потерпела неудачу. Это возмущение разночинца, невиданное по своей интенсивности и общественной ярости, было расплатой за то великое торможение, которое приспособило крестьянскую реформу к интересам дворянства и торгового капитала, консервировало остатки крепостничества, замедлило капиталистическое развитие России.

Теперь Россия улеглась в берега, очерченные александровской полуреформой. Наступила полоса малых дел, приспособленных к победоносцевской государственности. Разночинная интеллигенция, бурно заявившая о себе в 60-х годах голосами «Русского слова», «Современника», «Свистка», тысячами шедшая в народ, чтобы поднять его на революцию, десятилетием позже вступившая в поединок с правительством величайшей империи и казнившая его главу, была побеждена, усмирена, разочарована. Большие волны ушли, остались щебень и щепки. Большие идеи, за которые недавно

бесстрашно шли на смерть, не выдержали соприкосновения с действительностью, поблекли и измельчали.

Народническая идеология разночинной интеллигенции переживала глубокий кризис. Марксизм и рабочее движение еще не вышли на широкую общественную арену. Группа «Освобождение труда», помещавшаяся на одном диване, и первые рабочие стачки не могли дать представления о бурном революционном потоке, который запенится на рубеже нового века.

Этот период напоминает годы николаевской реакции, а настроения разночинной интеллигенции имеют много общего с настроениями дворянской интеллигенции после разгрома декабристов.

Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят,
Где дубы были до небес,
А нынче пни торчат.

Эту фразу Некрасов вложил в уста жены декабриста. В равной мере она характеризует настроения уцелевших представителей революционной разночинной интеллигенции.

Лермонтов выразил разочарование дворянской интеллигенции после декабристского периода стихами:

Толпою угрюмой и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и
следа,
Не бросивши векам ни мысли
плодовитой,
Ни гением начатого труда.

«Толпою угрюмой и скоро позабытой» прошла по миру интеллигенция 80-х годов. «Хмурые люди». «Сумеречные настроения». «Чеховская интеллигенция».

Лес был вырублен. Зато ползучие растения зацвели с невиданной силой.

В предчувствии надвигающегося поражения писал умирающий Некрасов:

Смогли честные, доблестно павшие,
Смогли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие.
Но разнужданной страсти жестокие,
Вихри злобы и бешенства носясь
Над тобою, страна безответная,
Все живое, все доброе носится...

Ему вторил Надсон, поэт безвременья, гражданской тоски и личной обреченности:

Облетели цветы, догорели огни,
Непроглядная ночь, как могила, темна.

Гаршин выражал те же тенденции в прозе. Его рассказы «Attalea princeps» и «Красный цветок» дышали безысходной тоской и трагическим разочарованием. Под влиянием таких настроений он поккончил жизнь самоубийством, бросившись в темный пролет лестницы. В «Attalea princeps» Гаршин рассказывает о мощной и гордой пальме, задыхающейся в душной атмосфере оранжереи. Она разбила своим куполом стеклянный потолок, вырвалась на вольный воздух и погибла на морозе.

В «Красном цветке» он рисует безумного, преследуемого маниакальной идеей — сорвать красный цветок, растущий в саду лечебницы. Сверхчеловеческим напряжением безумный разрывает смирительную рубашку, убегает в сад, срывает цветок и умирает, прижав его к груди. Это — символ народовольцев, разгромленных после убийства Александра II.

В творчестве Надсона и Гаршина еще напряженно звучат гражданские мотивы. «Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает». Аккорд разбитой Некрасовской арфы — музы, «мести и печали».

Чехов не омывается этой струей. Гражданские мотивы в его творчестве, особенно на первых порах, звучат очень слабо и приглушенно. Точнее — они почти отсутствуют. В этом отношении Чехов — не помнящий родства. Он не прошел через период трагического разочарования революционной народнической интеллигенции. Он олицетворяет собой разрыв преемственности. Он вышел из реакции 80-х годов и выражает ее настроения.

Аморфность, беспочвенность, оторванность от народа — все эти типичные для мелкобуржуазной интеллигенции черты в 80-е годы выступают особенно резко. В 80-е годы по всей линии идет переоценка старых народнических идей. Но эта переоценка происходила в очень своеобразной обстановке. Пролетариат не был еще «классом для себя». Русская буржу-

азия не освоила результатов крестьянской реформы, да к тому же освоение это происходило в трудных и неблагоприятных для нее условиях. Она только складывалась в самостоятельную классовую силу.

Русская мелкобуржуазная интеллигенция 80-х годов не имела, таким образом, серьезной классовой базы. Она не была поддержана крестьянством и разочаровалась в нем. И она не распределилась еще по двум классовым полюсам — буржуазному и пролетарскому, как это произошло двумя десятилетиями позже, в преддверии революции 1905 г.

Мелкобуржуазная интеллигенция не занимала сколько-нибудь прочного места в производственном процессе, так как промышленное развитие России в первые два десятилетия после освобождения крестьян происходило сравнительно медленным темпом и обслуживалось, в значительной степени, заграничной технической интеллигенцией.

Эта производственная беспочвенность и классовая неприкаянность мелкобуржуазной интеллигенции были основной причиной того, что она представляла собой аморфную массу, лишенную большой идеи и волевой зарядки, веры в свои силы и целеустремленности.

Из прошлого восьмидесятники черпали лишь горечь недавних поражений и рассеянных иллюзий. Настоящее олицетворялось в фигуре Победоносцева и казалось безнадежным. В таких исторических условиях формировалась та общественная группа, выразителем которой был Чехов. С психологической стороны мы определяем ее словами — «чеховский интеллигент». Как видим, эти психологические черты имели определенные социальные корни.

БЫЛ ЛИ ЧЕХОВ «СОВЕРШЕННОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ ЧЕХОВСКОМУ ИНТЕЛЛИГЕНТУ»?

Общественный облик Чехова

Был ли сам Чехов этим «чеховским интеллигентом»?

Или он был «совершенной противоположностью всем чеховским интеллигентам», как считает т. Кольцов?

«Чеховский интеллигент» — это психологическая характеристика определенной социальной группы на известном историческом этапе.

Раскройте Чехова. Вот перед вами по России 80-х и 90-х годов хмурой толпой проходят чеховские интеллигенты, лишенные большой идеи и волевой зарядки, стихийно отталкивающиеся от политики, скептические и разочарованные.

Но Чехов не только рисует портреты хмурых людей. Во всех его произведениях разлито определенное мировоззрение, вернее — мироощущение, так как этот расплывчатый термин более уместен, когда речь идет о поколении 80-х годов.

Чеховская Россия — мир серых, пошлых людей, занимающихся мелкими интригами, засосанных обывательским болотом. Таков, по крайней мере, основной фон.

Конечно, сам Чехов — большой и тонкий художник, умный и наблюдательный человек — видел пошлость своих героев, рисовал их с грустной иронией, как человеческую мошкарку, а не как горных орлов. Конечно, сам Чехов стоял выше своих героев. Но быть головой выше еще не значит стоять вне.

Те видовые признаки, которыми мы определяем чеховскую интеллигенцию, — отсутствие большой ведущей идеи, стихийное отталкивание от политики, общий скептицизм, характеризуют не только чеховских героев, но и все чеховское творчество и весь общественный облик писателя.

Поскольку словами «чеховский интеллигент» мы обозначаем определенную социальную группу, постольку отрицание этого типа, его «совершенная противоположность» тоже должны иметь определенный классовый смысл и корениться в изменении общественных условий.

В 90-е годы, несомненно, происходит перерождение чеховской интеллигенции. Но оно идет с двух противоположных классовых концов.

Какие экономические общественные сдвиги произошли в 90-е годы?

Прежде всего, непрерывно ускоряется темп капиталистического развития России. Политика Витте (золотая валюта, протекционизм, таможенные пошлины и

т. д.) обозначает новый шаг самодержавного государства навстречу классовым интересам промышленной буржуазии.

Параллельно идет быстрый рост пролетариата и пробуждение его классового самосознания. Классовые линии выступают более отчетливо и резко. Мелкобуржуазная интеллигенция притягивается к двум противоположным общественным полюсам.

Значительные успехи делает марксизм, а в 1898 г. на первом съезде организационно оформляется российская социал-демократическая рабочая партия. Марксистское крыло интеллигенции все более и более усиливается.

В то же время консолидация национальной буржуазии и рост технических кадров интеллигенции, обслуживающей развитие промышленности, создают условия для формирования идеологии буржуазного либерализма. На смену чеховским героям, людям сумеречных настроений, идут люди революционного дела и буржуазного деячества. В 90-е годы основные классы русского общества собираются с силами. Революционный ветер крепчает. На вершине XIX столетия в воздухе чувствуется приближение бури. Горький пишет «Сокола» и «Буревестника». «Буря, скоро грянет буря!» Идет 1905 г.

Все эти процессы не прошли бесследно для Чехова. 90-е годы вносят коррективы в его творчество. Но, во-первых, это только коррективы, дополняющие, видоизменяющие, но не отрицающие прежнего Чехова. А во-вторых, они идут по линии ассимиляции Чеховым, интеллигентом 80-х годов, некоторых новых элементов буржуазного либерализма.

Что же касается «активного сочувствия рабочему движению», которое Кольцов открыл у Чехова, то это — легенда и притом самого новейшего происхождения. Творимая легенда, так сказать. Чехов в продолжение всей своей жизни и литературной деятельности был не только чуждым, но и органически враждебным рабочему движению и его идеологии — марксизму, писателем. Говорить о его «сочувствии рабочему движению» можно лишь в том, очень условном и по существу обывательском смысле и в той мере,

как это применимо к каждому либеральному или либеральствующему представителю русской буржуазной интеллигенции кануна революции 1905 г. Это было «сочувствие с того берега», очень платоническое, крайне настороженное и во имя своих, совершенно противоположных классовых интересов. Цена этому сочувствию полностью определилась после разгрома декабрьского восстания в Москве.

В одном письме из-за границы Чехов, описывая нарядную буржуазную толпу, радуется, что нет городских и «марксистов с надутыми физиономиями». В этой фразе прекрасно отражено действительное отношение Чехова к марксистам и рабочему движению.

Формулировка Кольцова — «все соприкосновения Чехова с общественной политической жизнью отмечены активным сочувствием рабочему движению» не только не соответствует действительности и искажает общественный облик Чехова, но и дает неправильную характеристику классовых отношений того времени. Это не Чехов «без грима», а Чехов, загримированный Кольцовым.

Есть у Чехова рассказ «Знамение времени». Он настолько немногосложен, что мы приведем его целиком.

«В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор, как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне... скажите... Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.

— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.

— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но... я брат, и моя священная обязанность предостеречь тебя... Будь осторожнее с этим господином. Держи

язык за зубами... Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!

— Это твое дело... Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но, ради бога, будь осторожна... Я знаю этого субъекта... Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что...

— Мersi, Макс... А я и не знала!

Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

Рассказ дышет грустной иронией над поколением 80-х годов, над чеховской интеллигенцией. Но это ирония и над самим собой, именно поэтому она мягкая, примиряющая, а не избличающая.

Отношение Чехова к литературе и к собственной литературной деятельности, особенно в первый период, строилось в общем, по тому же принципу, что отношение молодой девушки к своему возлюбленному.

Чехов поверял литературе все свои мысли и надежды. Но он не говорил о политике. Эти вопросы были в его представлении отделены от литературной деятельности. Они стояли где-то в стороне, если стояли вообще.

Биографически это сказалось наиболее отчетливо в отношении Чехова к Суворину и к сотрудничеству в «Новом времени».

Михайловский, вся народническая да и либеральная критика «постучались в дверь» как раз, когда происходило объяснение в любви между Сувориным и Чеховым.

— Я знаю этого субъекта, большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что, — предостерегала критика.

Чехов благодарил, принимал к сведению и продолжал сотрудничать с Сувориным. О политике они не говорили.

Но история отношений Чехова к Суворину — только внешнее выражение общих взглядов писателя на политику и литературу.

Взгляды эти Чехов неоднократно излагал как в своих произведениях, так и в переписке.

Даже в 1898 г. в письме к Суворину по поводу процесса Дрейфуса и высту-

пления Золя (подробнее мы будем говорить об этом дальше) Чехов писал: «Большие писатели художники должны заниматься политикой лишь постольку, поскольку нужно обороняться от нее».

И Чехов последовательно «оборонялся» от политики.

Еще на ученической скамье в самом конце 70-х годов, в разгар народовольческого террора, когда политические проблемы с невиданной до сих пор остротой были поставлены перед русским обществом, и прежде всего перед молодежью, Чехов отгораживался от «политики» и от той части учащихся, которая читала Чернышевского и Добролюбова и интересовалась общественными вопросами.

Невольно подходя к какому-нибудь общественному вопросу Чехов инстинктивно пятился назад, когда нужно было дать ему политическую формулировку.

Иван Щилов в воспоминаниях о Чехове передает следующий диалог:

«— Я люблю природу и литературу, люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм.

— Политический деспотизм?

— Всякий... где бы и в чем бы он ни выражался,— резко оборвал Чехов.— Все одно в министерстве внутренних дел или в редакции «Русской мысли».

В этих словах — весь Чехов, интеллигент 80-х годов, подозрительно настороженный к политике.

Глубокая неосведомленность Чехова в политических вопросах классически выражена в известном письме Чехова к Суворину по поводу марксистского журнала «Жизнь».

«Послал повесть в «Жизнь». В этой повести я живописую фабричную жизнь и трактую о том, какая она печальная. И только вчера случайно узнал, что «Жизнь» — орган марксистский. Как же теперь быть?» — инструктируется Чехов у Меньшикова.

В переписке Чехова можно найти десятки неодобрительных, сердитых, а иногда и злобных реплик по поводу попыток «втянуть» его в политику.

Два факта из биографии Чехова как будто бы идут вразрез с этой подчеркнутой и «нутряной» аполитичностью. Мы

имеем в виду знаменитый академический инцидент и разрыв с Сувориным. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что они отнюдь не противоречат чеховской аполитичности.

Академический инцидент, несомненно, имел крупное общественное значение. В ответ на исключение Горького из академии за политическую неблагонадежность, Короленко, а затем и Чехов сложили с себя звание почетных академиков. Это была демонстрация против самодержавия. Но в отличие от заявления Короленко, в котором дается политическая мотивировка уходу из академии, Чехов строго выдержал свое заявление в аполитичных тонах.

«В декабре прошлого года,— гласит заявление Чехова,— я получил извещение об избрании Пешкова... Первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что в виду привлечения Пешкова к дознанию выборы признаются недействительными, при чем было точно указано, что это извещение исходит от Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признал выборы недействительными. Такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним мою совесть я не мог».

Таким образом, если здесь и есть противоречие, то это противоречие между субъективными намерениями Чехова и объективным смыслом его выступления, а не в отношении писателя к политике.

Что касается разрыва с Сувориным, то разрыв этот, точнее охлаждение, тоже питалось не столько из политического, сколько из морального источника.

Впервые это охлаждение намечается в связи с процессом Дрейфуса. «Новое время» травило Дрейфуса. Чехов высказывал сочувствие поведению Золя на процессе. Но вот что он пишет по этому поводу Суворину: «Здесь у всех такое чувство, будто родился новый, лучший Золя...»

Пусть Дрейфус виноват, и Золя все-таки прав, так как дело писателя — не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они осуждены и

несут наказание. Скажут: а политика? Интересы государства? Но большие писатели-художники должны заниматься политикой лишь постольку, поскольку нужно обороняться от нее».

Как видим, Чехов оборонялся от политики с большой последовательностью и огромнейшим упорством. Только нарастающая революция 1905 г., приведшая в движение все классы общества, пробивает некоторую брешь в этой аполитичной броне Чехова. Он больше интересуется общественными вопросами, стараясь проникнуть в смысл событий. Но это не меняет основной линии чеховского творчества, проходящей через два десятилетия.

В 80-х годах русская интеллигенция бежит от жестокой политики к малым делам, личной жизни, эстетике и, в лучшем случае, к платоническим мечтам о том, «что будет через двести лет». Аполитичность — одна из характерных черт чеховской интеллигенции и самого Чехова. Чехов пронес эту аполитичность через два десятилетия, почти что к порогу революции 1905 г.

В соответствии с упорной аполитичностью, привитой 80-ми годами, Чехов в продолжение всей своей жизни боролся с тенденциозностью в литературе. В этом отношении Чехов тоже вышел не из общественных традиций 60—70-х годов, а из реакции и глубокой общественной депрессии 80-х годов.

В письме к Плещееву Чехов говорит: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Хотел бы быть свободным художником, и только... Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским... Я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи... Форму и ярлык я считаю предвзвешенным. Мое святое-святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение и абсолютнейшая свобода... Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

Чехов был большим художником, и он последовательно держался этой программы.

Именно за резко выраженную антитенденциозность обрушилась на писателя народническая критика.

«Чехов — не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат», — писал Михайловский. У нас, вопреки мнению Кольцова, нет никаких оснований пересматривать оценку народнической критики в этом вопросе. Кольцов скромно умалчивает о марксистской критике. Но и марксистская критика неоднократно отмечала эту сторону чеховского творчества, ставя ее в связь с положением той общественной группы, выразителем которой был писатель.

Эта систематическая упорная борьба с тенденцией в литературе вытекала из той общей всем чеховским интеллигентам черты, которую мы определили как отсутствие большой, ведущей идеи, помогающей осмыслить жизнь и свое место в ней. Такая большая идея дается жизнеспособным классам, выработавшим в борьбе свои традиции, накопившим большой опыт, или классом, смело поднимающимся вверх по исторической лестнице. Мы уже говорили о классовой неприкосновенности мелкобуржуазной интеллигенции, попавшей в тупик 80-х годов. Ставка разночинца на крестьянство была бита. Рабочий класс еще не играл самостоятельной политической роли. Национальная буржуазия тоже не сложилась еще в самостоятельную силу: витовское оживление только начиналось. Помещичий класс представлял собой картину медленного, но прогрессивного разложения.

Соответственно этому формировалась, вернее, деформировалась общественная идеология. Народничество было уже эпигонством, марксизм был еще эмбриологией. Буржуазный либерализм, позже представленный освобожденской и кадетской программами, в 80-е годы представлял собой неопределенную туманность, еще совершенно не уплотненную в сколько-нибудь твердые ядра.

Медкобуржуазная интеллигенция, не попавшая в сферу притяжения основных классовых сил, блуждала в сумерках, беспризорная, лишенная ведущей идеи. Выразителем ее настроений и был Чехов.

Лев Толстой в разговоре с Чеховым как-то дал следующий отзыв о его пьесах: «Я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все-таки хватается читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяя свернуть в сторону. А куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат, до чулана и обратно?»

Нелюбовь к Шекспиру здесь осталась не мотивированной. Но характеристика Чехова замечательна. И она относится не только к пьесам, а ко всему его творчеству.

Шекспир, стоявший на гребне могучего прилива торгового капитализма, действительно «хватал за шиворот» и «вел к известной цели». В 80-е годы за шиворот никто не хватал, разве что городской, но «известная цель», к которой он вел, называлась ближайшим участком. С героями Чехова никуда не дойдешь. У них нет цели, они не служат никакой большой идее, как не служил ей сам Чехов.

Чехов отдавал себе в этом полный отчет. Он даже пытался вскрыть общие причины, вызвавшие такое выхолащивание его творчества. В письме к Суворину, помеченным 1892 г., Чехов писал:

«Будем говорить об общих причинах и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 35—40 лет, дал миру хоть каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? У нас нет «чего-то». Это справедливо и это значит — поднимите подол нашей музе и вы увидите плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими... имеют общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут куда-то, и вы чувствуете не умом, а всем существом, что у них есть какая-то цель... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, как она есть, но оттого, что каждая строчка прочитана с сознанием цели, вы, кроме жизни, как она есть, чувствуете еще ту жизнь, которая должна быть, и

это пленяет вас. А мы? — Мы пишем жизнь такую, какою она есть, и дальше — ни тпру, ни ну. Дальше хоть плетью нас стегай! У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе — хоть шаром покати».

Здесь Чехов, в сущности, повторяет толстовские слова.

Писатели, о которых Чехов говорит, что они «пьянят», были выразителями жизнеспособных, борющихся за свое утверждение классов, знаменосцами больших идей. Поэтому они «куда-то идут и вас зовут туда же», поэтому в их произведениях, «кроме жизни, как она есть, чувствуется еще жизнь, как она должна быть».

Чехов никуда не вел, никого не звал. Да и стоит ли вести и звать с дивана в чулан?

Эти слова Чехова, этот автопортрет, нарисованный на тусклом, сумеречном фоне эпохи, удивительно напоминает известный портрет Браза, изображающий чеховского интеллигента в пенсне и с грустной улыбкой, — портрет, на который так ополчился Кольцов.

В нашу эпоху нужно вести и звать. Нужно строить и переделывать жизнь, а для этого видеть ее не только, как она есть, но и как она должна быть — с точки зрения нашего класса. Нам нужны вожаки, а не чеховские интеллигенты, работники, а не «существователи». Наше время — время четких и резких линий, а не мягких, расплывчатых полутонов.

Это полезно напомнить всем нашим литераторам, которые хотят, пользуясь очередным юбилеем, произвести Чехова в революционеры¹. Трудно представить себе более контрастирующие эпохи, чем наша и 80-е годы. Чехов был знаменем 80-х годов, их выразителем и их жертвой. В чеховский юбилей мы должны произвести античеховскую прививку молодым кадрам пролетарской литературы. Прививку против его аполитичности, против его взглядов на «тенденциозность» в литературе, против расплывчатости его ли-

¹ Смотрите, например, статью Державина в чеховском № «Прожектора». Державин пишет: «Подлинно революционными являются те писатели, которые возбуждают духовный голод в своих читателях. В этом смысле я затрудняюсь назвать у нас писателя, более революционного, чем Чехов».

ний и красок, против его интеллигентского скептицизма, не имеющего ничего общего с революционной настороженностью.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА

Погрузимся в темный колодез 80-х и 90-х годов. Вот он, скучный мир чеховских героев.

Чиновник, грозящий сослуживцу в передней начальника перед листом для визитеров:— «Хочешь, я под твою подпись закорючку поставлю, подпись твою неуважительной сделаю, хочешь, я тебя погублю?» Почтенный отец семейства, встретившийся на вокзале с другом детства, радостно бросившийся к нему в объятия, но узнав, что тот тайный советник, вытягивающийся в струнку и депечущий о чести «приветствовать его высокопревосходительство»; профессор, отвечающий на проклятые вопросы своей воспитанницы о том, «как жить дальше», словами:— «По совести, Катя, я не знаю, давай позавтракаем»; гувернантка, шепчущая сквозь слезы «мерси» человеку, только что обокравшему ее; «злоумышленник» — крестьянин, отвинтивший гайку с рельс и упорно непонимающий, что этого нельзя делать; помещичьи сынки, проматывающие последние остатки перезаложенных имений; унтер Пришибеев, держащий в страхе всю округу и записывающий мужиков, которые «сидят по вечерам с огнем», пристав, сажающий в тюрьму за недостатком улик; отец, секущий сына за то, что он «вчера разбил стекло»; мужья, истязавшие жен для развлечения; жены, обманывающие мужей из скуки; чиновники, подхалимствующие из раболепства; начальники, распекающие подчиненных «для строгости»...

Перед вами проходят сотни людей «толпою угрюмой и скоро позабытой».

Чехов описывает интеллигентов, помещиков, крестьян, капиталистов, рабочих.

Но как вырисовываются за этими «живыми людьми» классы?

Попытаемся хотя бы в самой сжатой форме дать характеристику классовых отношений в России по Чехову.

Полнее всего представлены в его произведениях интеллигенты. Присмотримся

ближе к общественному и политическому облику чеховского интеллигента.

Это, главным образом, люди свободных профессий и служащие. Врачи, художники, учителя, учащаяся молодежь, чиновники всех классов и ведомств. Техническая интеллигенция представлена очень слабо (она осталась вне поля зрения Чехова, взгляд которого устремлен на 80-е годы).

В социальном отношении — это очень подвижная и широкая категория. Она пополняется из крестьян (прежде всего кулачества) — с одной стороны, и разоряющихся помещиков — с другой. Но более сильна демократическая струя. Это естественно. В 80-е—90-е годы, несмотря на все преграды, шел массовый приток интеллигенции снизу.

В политическом отношении чеховская интеллигенция безлика и безразлична. В массе она не интересуется большими вопросами, погружена в спячку, мелкие интриги и происшествия провинциального болота. Засасывающая сила этого болота огромна. Во многих рассказах читаешь упоминание, что «раньше», «в дни молодости», «когда-то» люди жили иной, более интенсивной, менее растительной жизнью. Но это — смутные проблески, воспоминания далекого прошлого. Они тусклы и неопределенны.

Засасывающая сила провинциального болота прекрасно изображена в одном маленьком рассказе о том, как приехавший в провинцию интеллигент сначала читает Писарева и думает просвещать сограждан, но не встречает отклика. Он открывает книжный магазин, кладет на заднюю полку Писарева, выписывает книги из столицы — никто не приходит, тогда он присоединяет к книгам письменные принадлежности, и появляются первые покупатели. Для привлечения их — к отечественной литературе разумеется — он заводит игрушки, потом галантерею, бакалею. Дела идут бойко, предприятие растет, Писарев мирно дремлет на полке, книг же никто не покупает, о них забыл и сам хозяин.

Как жить? Что делать? Все эти вопросы (если они встают) только подчеркивают беспомощность и опустошенность чеховских героев.

Разговор Кати с профессором в «Скудной истории» характеризует основную массу чеховской интеллигенции.

Катя обращается к своему воспитателю, знаменитому ученому:

— «Я не могу дальше так жить. Скажите скорее, что мне делать?»

— Что же я могу сказать... ничего я не могу.

— Помогите мне!

— Ничего не могу сказать тебе, Катя.

— Ведь вы уминый, образованный, говорите же, что мне делать?

— По совести, Катя, я не знаю, давая позавтракаем».

А что представляют собой думающие люди серого чеховского мира? Как отвечают они на поставленные Катей вопросы?

Думающие — это или пессимисты или эпигоны 60-х годов, представленные к тому же часто в карикатурном виде, или проповедники малых дел, или тихие, безвольные мечтатели.

В пьесе «Дядя Ваня» единственный умный человек — земский врач Астров. Но он — законченный пессимист. Вокруг вырождение и гибель. Жизнь кажется ему «скудной, глупой, грязной». В темном царстве нет даже луча света. Хотя пьеса «Дядя Ваня» написана в 1901 г., но она отражает настроения 80-х годов и лишний раз показывает, как устойчивы были эти настроения у Чехова.

Эпигоны 60-х годов даны Чеховым в «Иванове», в «Соседях», в некоторых мелких рассказах. Это или окарикатуренные, или просто слабо очерченные типы. Врач Львов корчит из себя Добролюбова. Мелкопоместный Власыч из «принципа» женится на проститутке и аккуратно кладет приезжим гостям на стол Писарева и Добролюбова. Здесь — та же картина вырождения.

Проповедники малых дел рассеяны во многих произведениях Чехова.

Иванов, примыкающий в молодости к революционному движению, разочаровывается и становится пропагандистом малых дел: «Запритесь в себе, в малую раковинку, и делайте свое маленькое, богом данное дело. В «Доме с мезонином» практиком малых дел выступает Лида — дочь помещика. Она развивает энергичную

деятельность, принимает больных, заботится о школе, интересуется земскими делами. «Мало-по-малу ей удалось собрать вокруг себя симпатичных ей людей, которые составили сильную партию, и на последних земских выборах «прокатить» Болошина (помещика-реакционера), державшего весь уезд в своих руках».

В сером мире чеховских интеллигентов поборники малых дел одни знают, для чего живут и имеют положительный ответ на проклятые вопросы.

Такого ответа нет у тех, кого Чехов противопоставляет им.

Здесь мы переходим к последней группе интеллигенции, прогрессивно настроенной, стремящейся к лучшему будущему. Большей частью это беспочвенные мечтатели, люди смутных предчувствий и неопределенных стремлений к счастью и красивой жизни, а не люди дела.

В «Трех сестрах» барон Тузенбах говорит: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку». Но это только предчувствие, а не активная устремленность. «Надвигается», «готовится» «сдует», — все это придет неизвестно откуда, и независимо от людей. Ему вторит Вершинин: «Лет через сто-двести жизнь на земле будет невероятно прекрасной и изумительной».

Но эти люди намечены у Чехова пунктиром. Читатель не видит их лица в полном освещении. Кто они, что они хотят? Этого не знает читатель, потому что не знает сам автор.

В такой же тени оставлены те немногие представители интеллигенции, которые от расплывчатых мечтаний перешли к общественной деятельности и борьбе. Нина Заречная в рассказе «Невеста», вечный студент Трофим и Аня в «Вишневом саду» — слабо намеченные силуэты, чуждые и загадочные для самого автора. Все портреты новых людей Чеховым не дорисованы, их идеи не уловлены, слова не досказаны. Здесь чеховские полутона превращаются в какие-то расплывчатые пятна.

Эти тени новых людей даны, главным образом, в последних произведениях Чехова, относящихся к концу 90-х годов и

началу XX века. Они навеяны крепнущим ветром грядущей революции. Но они так смутны и неопределенны, что кажутся бледными призраками, а не реальными людьми. Это не соколы и не буревестники, это далекие, призрачные чайки. И у Чехова они знаменуют не перелом, а лишь первые «сдвиги».

Подведем итоги:

1. Рисуя интеллигенцию, Чехов воспроизводит в основе отношения 80-х годов (слабо представлена техническая интеллигенция, масса интеллигенции аморфна и не распределена по социальным полюсам, политически не оформлена, общий пульс понижен, настроения навеяны глубокой общественной реакцией).

2. Новые веяния 90-х годов и начала XX века отражены слабо и не меняют основного фона.

3. Революционное крыло интеллигенции, особенно в период 90-х годов и непосредственно предреволюционный, осталось вне поля зрения Чехова (в частности, совершенно отсутствует марксистская интеллигенция).

Но изображая интеллигенцию, Чехов все-таки был в родной стихии. Рисуя основные классы русского общества и отношения между ними, писатель еще более искажает перспективы и нарушает исторические пропорции.

Помещичий класс представлен у Чехова очень богато. После мелкобуржуазной интеллигенции, пожалуй, это наиболее освещенная писателем общественная группа.

Чехов рисует картину полного разложения помещичьей России. Быстрым темпом идет экономическое оскудение дворянства. Помещичьи имения закладываются, расхищаются, продаются с молотка, переходят в руки деревенской и городской буржуазии. Ничто не в силах приостановить помещичьего распада.

На этом фоне идет процесс духовного вырождения помещиков. Чеховские помещики большей частью или пьяницы, моты, дегенераты (молодой Черпаков — «Моя жизнь», Егорушка Преклонский — «Цветы запоздалые»), или безвольные, надломленные люди, чувствующие надвигающуюся катастрофу и бессильные пре-

дотвратить ее (Гаев и Раневская в «Вишневом саду»).

Случаи активного протеста, попыток борьбы встречаются очень редко. Такой протестант выведен в лице обедневшего помещика Раевского (рассказ — «В усадьбе»). Он выступает идеологом аристократии: вся культура создана благородным классом; великие писатели — бывшие дворяне; «чумазый» разрушает культуру. Чехов не симпатизирует идеалам Раевского. Идеология воинствующей помещицкой реакции ему чужда, впрочем, как и всякая воинствующая идеология.

Итак, Чехов рисует картину разложения помещичьего класса. Но это — тихое увядание, поэтическое угасание, а иногда и торжественный закат. Это естественный процесс умирания, овеянный лирической дымкой воспоминаний и примиряющей грусти. Так умирают метерлинковские герои, за которыми неслышными шагами приходит смерть, но не так сходят со сцены общественные классы. Здесь нет и следа классовой борьбы. Процесс разложения помещичьего класса тщательно очищен от всех противоречий. Перед вами не класс, ведущий отчаянную борьбу за сохранение старых отношений, цепляющийся за привилегии и власть, а старец, мирно отходящий в могилу на руках опечаленных родственников. И те, кто приходят на смену, — это сыновья, вступающие в наследование, а не враги, с боем завоевывающие каждую пядь земли. «Вишневый сад» — последняя большая пьеса Чехова — весь проникнут этими настроениями примиряющей грусти.

Характернее всего, что помещичий класс дан вне отношений его к крестьянству. Здесь Чехов не только расходится с народнической литературой, но и рвет традиции дворянского либерализма эпохи борьбы за уничтожение крепостного права. А 80-е годы были периодом искусственного поддержания и реставрирования изживших себя остатков крепостничества.

Прислужники самодержавия и дворянства прекрасно увидели и оценили эту черту чеховского творчества. Царские цензоры, с их богатейшим опытом охранительной деятельности, умели «смотреть в корень» и давали иногда поразительно-

верные классовые характеристики. Мотивировка царской цензуры, допустившей пьесы «Дядя Ваня», «Иванов» и «Вишневый сад» для народных театров замечательна по своей классовой обнаженности. Приводим ее целиком.

О «Дяде Ване»: «Принимая во внимание, что в пьесе этой, рисующей помещичий быт, нет никаких намеков на какой-либо антагонизм между помещиками и крестьянами, я полагал бы возможным удовлетворить ходатайство».

Об «Иванове» и «Вишневом саде»: «Принимая во внимание, что в обеих пьесах нет ни малейшего намека на отношения помещиков к крестьянам, а следовательно, и нежелательного тенденциозного освещения таковых, я полагал бы возможным удовлетворить ходатайства».

А Кольцов называет чеховские пьесы «веселыми, бичующими комедиями» (очевидно, бичующими помещичий класс). Положительно, некоторым нашим литераторам следует поучиться классовой чуткости у царских цензоров.

Оценка «Дяди Вани» помечена 1906 г., а «Вишневого сада» — 1907 г. На фоне могучей крестьянской революции и карательных экспедиций в защиту чеховских «вишневых садов» пьесы эти представляли собой действительно печальное зрелище.

Только что отзвучал голос Астрова, говорившего о жизни «скудной, глупой и грязной», только что смолкли удары юппахинских топоров по вишневым деревьям, а в России бушевала революция и крестьяне жгли чудесные вишневые сады. Чеховские статисты стали героями, а герои скромно скрылись за кулисы. Это было публичное разоблачение чеховской России. Воистину драма первой русской революции ставилась не по Чехову и Станиславскому.

Крестьянство изображено во многих произведениях Чехова. Здесь тускло-серые краски Чехова приобретают мрачный оттенок. Чехов рисует картину дикости, невежества, темноты, бескультурия, озлобленности («Мужики», «Новая дача», «Злоумышленник», «В овраге», «Моя жизнь»). Кольцов в цитированном нами фельетоне считает, что Чехов дает «классическую, умную, сильную, безотрадную

картину дореволюционной деревни, не менее острую и гораздо более действенную, чем Успенский, Златовратский, Решетников». Мы не можем согласиться с такой оценкой. Кольцов подметил лишь одну сторону чеховской деревни. Верно, что Чехов дает сильную и безотрадную картину деревни. Он не идеализирует крестьянство, как писатели-народники. Глаз его лучше схватывает отрицательные стороны крестьянского мира, раз'едаемого разрушительной работой капитализма. В свое время марсистская критика противопоставляла чеховский реализм в описании деревни народническому утопизму

Но чеховский реализм очень поверхностен и односторонен. Чехов изображает крестьянство, отвлекаясь от классовых противоречий между ним и помещиками. Для него помещики существуют «сами по себе», а крестьяне — «сами по себе». Мы видели, как неправильно изобразил Чехов помещичий класс. Уже это одно искажает действительную картину деревни. Рисуя помещиков вне их противоречий с крестьянами, Чехов естественно не мог правильно изобразить крестьян. Чеховская деревня имеет один «маленький» недостаток: в ней не показана эксплуататорская роль помещика и пригнущена классовая борьба.

Характерно, что Чехов охотнее и живее описывает в своих произведениях борьбу крестьян с «дачниками» (например, «Новая дача»), чем с помещиками. И сами противоречия крестьян с помещиками имеют у Чехова «дачный» характер, т. е. даны вне отношений экономической эксплуатации.

Интеллигенты и помещики не могут добиться «понимания» со стороны крестьян даже тогда, когда искренне хотят наладить с ними отношения. Крестьяне практичны, грубы, хитры и настороженно-подозрительны. Они относятся к «дачникам» с глубоким, непобедимым недоверием. Это взаимное непонимание очерчено у Чехова очень резко и жизненно. Но здесь больше от разобщенности интеллигенции и народа, чем от классовых противоречий помещиков и крестьян накануне великой аграрной революции.

Чеховская деревня и с помещичьего и с крестьянского конца — это не деревня

подготовки великой аграрной революции. Революция 1905 г. приходит для читателей Чехова неожиданно и немотивированно. Она не предусмотрена чеховским «объективизмом».

Слабее представлены в произведениях Чехова буржуазия и пролетариат (особенно последний).

Буржуазия привлекает внимание Чехова, главным образом, в 90-е годы.

90-е годы были периодом бурного промышленного развития страны и формирования национальной буржуазии. Эти процессы не нашли правильного освещения в творчестве Чехова. Если писатель дает, в общем, правдивую картину образования деревенской буржуазии (кулачество, лавочники и т. д.), сгущая общекрестьянские черты, рисуя ее хищной, расчетливой, напористой, не останавливающейся перед средствами, то он становится совершенно беспомощным, когда переходит к изображению представителей промышленной буржуазии.

Здесь объективизм Чехова терпит полное крушение.

Представители формирующейся промышленной буржуазии, по Чехову, — это люди с надломленной волей, раздвоенной психикой, напоминающие больше юристов, чем дельцов.

Такой дана в рассказе «Случай из практики» единственная дочь и наследница миллионерши Ляликовой Лизанька. Она не знает, зачем жить, мучается неразрешимыми вопросами и противоречиями, страдает истерическими припадками. Ее силуэт набросан на зловещем, мрачном фоне фабрики, которая представляется Чехову какой-то «неведомой силой», с «багровыми глазами дьявола».

В рассказе «Бабье царство» писатель рисует дочь фабриканта, вышедшего из низов. Ее тянет к народу, но уйти она не решается, она не может жить в обстановке роскоши и безделья, но не может и расстаться с ней. На ней лежит та же печать раздвоенности и бессилия.

Но наиболее характерен для Чехова рассказ «Три года». В центре его стоит наследник торгового дома Алексей Лаптев. Это человек рефлекс и смутных мечтаний, а не человек дела. Богатство давит Лаптева. «Я богат, но что мне дали

до сих пор деньги? Чем я счастливее вас? Когда сестра болела и умирала, ей не помогли деньги. Когда меня не любят, я не могу заставить полюбить себя, хотя бы истратил сто миллионов»... «Он был уверен, что миллионы испортят для него жизнь окончательно и сделают из него раба». Он хочет уйти, бросить дело, но остается. Перед нами не эксплуататор, не человек «американского размаха, великорусской складки», а жертва миллионов.

Когда Чехов рисует фабриканта и капиталиста, вы видите чеховского интеллигента раздвоенного, безвольного, запутавшегося в жизненных противоречиях. И здесь выступают черты знакомого бразовского портрета.

С капиталистом Чехов проделывает ту же операцию, что и с помещиком. Он дает буржуазию вне классовых противоречий. Лаптевская философия, при всей ее интеллигентской беспочвенности, выполняет определенную служебную роль. В светских рассуждениях сама идея классовой борьбы становится какой-то нелепостью. Против кого классовая борьба? Против этого чеховского интеллигента? Но ведь он жертва, а не эксплуататор. Разве деньги могут заменить ему неразделенную любовь и т. д.?

Подставив, вместо капиталиста, интеллигента с бразовского портрета, Чехов, естественно, не мог показать ни формирования русской буржуазии в период виттевского оживления, ни нарастания противоречий между молодой буржуазией и самодержавным государством в период торгово-капиталистической судороги начала XX века.

Это же выпадение реального капиталиста предрешает беспомощность Чехова в освещении пролетариата.

У Чехова совершенно нет «вышколенного и объединенного капиталистическим производством, наиболее передового класса» современного общества. Те отдельные рабочие, которые встречаются на страницах чеховских произведений, также напоминают представителей своего класса, как чеховский Лаптев — русского буржуа. И у Чехова к ним не политическое, а филантропическое отношение. Как и Лаптев и Лизанька, это жертвы дьявола с багровыми глазами,

но только с другого конца. Впрочем, странно было бы требовать от Чехова изображения русского пролетариата. Даже Горький—певец наступающей бури—отразил индустриального рабочего очень слабо. Для Чехова же это была стихия чуждая и неведомая.

Такова Россия глазами Чехова, если дать ей социальную характеристику.

Чехов вынул центральную пружину исторического процесса, и часы времени остановились где-то около 80-х годов.

Он неправильно очертил классовые силы, исказил все пропорции, сместил перспективы.

Чехов перепутал телефонные провода истории: куда бы вы ни включились—слышатся знакомые нотки тихого голоса, голоса чеховского интеллигента, запечатленного на бразовском портрете.

«ОБЪЕКТИВИЗМ» И «ТЕНДЕНЦИЯ» В ЛИТЕРАТУРЕ

«Жизнь, как она есть» и «жизнь, как она должна быть»

Чехов был последовательным противником всякой «тенденции» в литературе. Вульгарная критика—а стертые монеты ее чеканки имеют еще хождение в нашей современной литературе—противопоставляет тенденциозность объективности и художественности. Тенденциозность, по мнению этих блюстителей художественной объективности, искажает действительность и мешает видеть жизнь, «как она есть». Одновременно она антихудожественна, так как насиливает конкретный материал, с которым имеет дело писатель, наклеивает на него «ярлычки» и «этикетки».

Чехов искренно верил, что антитенденциозность его творчества помогает ему сохранять объективность и видеть Россию, «как она есть».

«А мы?»—Мы пишем жизнь такую, как она есть, и дальше—ни тпру, ни ну, дальше—хоть плетью нас стегай!» (трагическая обреченность социальной группы, которая не может видеть дальше и глубже сегодняшнего дня, выражена в этих словах удивительно сильно, хотя и не осознана).

Развивая ту же мысль, Чехов писал: «Мое святое-святых—это человеческое

тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, абсолютная свобода» (письмо к Плещееву).

В другом письме к Григоровичу Чехов делает следующее признание: «политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет (это в 1888 г., когда Чехов был уже сложившимся писателем!), я меняю его еже часно, а потому придется ограничиться описанием, как мои герои любят, женятся, рождаются, умирают и как говорят».

Итак, Чехов хотел писать жизнь, как она есть. Он хотел писать «живого человека», который любит, женится, умирает, разговаривает,—без всяких ярлычков и этикеток, без всяких «тенденций» и без «определенного мировоззрения», полагая, что сохраняет полнейшую объективность.

Но о людях, так же как и о классах, нельзя судить по тому, что они думают о себе.

Перед нами прошла бесконечная процессия живых людей, принадлежащих к самым различным классам общества: помещиков, крестьян, капиталистов, рабочих интеллигентов. Богатейшая портретная галерея! Но в ней недостает одной картины: России конца XIX и начала XX века, с ее классовой борьбой и величайшими противоречиями.

В чеховской мозаике вы не увидите основных линий развития, читая в душах людей вы не поймете «души» исторического процесса, не познаете тех социальных изменений, которые выдвинули на авансцену рабочий класс, революционизировали крестьянство, выбили из сонной убогостворенности буржуазию и привели к революции 1905 г.,—генеральной репетиции Октября. По Чехову вы составите совершенно искаженную картину России, где все линии спутаны и стерты в серых сумерках. За чеховскими живыми людьми вы не увидите живых классов. В тусклом свете чеховских картин вы совершенно не различите контуров грядущей революции.

Чехов, несомненно, дает богатейший конкретный материал к характеристике России конца XIX и начала XX века. Изучение его представляет большой интерес для историков нашей литературы.

Многое почерпнет у Чехова и наша молодежь, если она подойдет к его произведениям, вооруженная отточенным оружием марксистской критики. Но только при этом условии! То, что дал Чехов,— это постройка, возведенная по совершенно неправильному плану, по фантастически-спутанному чертежу. Это кино-фильм с перепутанными и выпущенными кадрами. Читатель, подходящий к Чехову, должен перемонтировать чеховскую картину о России, сделать нужные вставки и вырезки, а главное— вскрыть общественную закономерность чеховских диспропорций.

Общая оценка Чехова как выразителя определенной социальной группы дана марксистской критикой. Было бы хорошо, если бы молодежь, учащаяся в нашем литературном вузе, отметила чеховский юбилей коллективной работой на тему: основные классы России конца XIX и начала XX века, как они были в действительности и как они даны у Чехова, собрав и обобщив огромный конкретный материал, рассеянный в полном собрании сочинений Чехова. Эту работу можно будет назвать: «Разоблаченный Чехов».

Как могло произойти, что Чехов, упорно избегавший всякой тенденциозности, описывающий жизнь, как она есть и живого человека в ней, не только не отразил в своих произведениях основных линий развития, но дал совершенно искаженную картину России?

Это произошло оттого, что Чехов смотрел на Россию глазами чеховского интеллигента, представителя наиболее беспочвенной и беспомощной социальной группы, запутавшейся в лабиринте 80-х годов. Да, Чехов смотрел на Россию глазами интеллигента, с того самого бразовского портрета, который раскритиковал и приговорил к сожжению т. Кольцов.

А классовое зрение играет далеко не пассивную роль в запечатлении конкретного материала.

Но ведь Чехов был последовательным врагом всякой тенденциозности в литературе?

Но ведь он давал жизнь, как она есть, вне связи с тем, как она должна быть, т. е. с максимальной объективностью?

Но ведь он рисовал живых людей без всяких ярлычков и этикеток?

Все это верно. И именно поэтому он сместил все общественные пропорции, искажал картину тогдашней России.

Отказаться от тенденции в литературе—значит положиться на обывательский глазомер. Такой глазомер достаточен в обыденной жизни на пространстве «от дивана до чулана», но он неизменно дает осечку при больших измерениях, определяющих движение масс и классов, а через них и направление исторического процесса.

Тенденция выветривается из литературы тогда, когда данная общественная группа теряет большую ведущую идею, т. е. духовно опустошается.

Жалуюсь на отсутствие большой ведущей идеи, проектирующей жизнь, «как она должна быть», Чехов думал, что он дает жизнь, как она есть.

Но это самообман. «Интерес заключается во всем движении». Жизнь не терпит, по образному выражению Гегеля, «нежничанья с собой», т. е. стремления очистить ее от противоречий и борьбы. В этом же смысле Гегель писал: «...немедленно становится ясно, что это есть извращение вещей, и что познание, желающее брать вещи так, как они есть, впадает в противоречие с самим собою». Под словами «вещи, как они есть» Гегель подразумевал вещи, рассматриваемые в их «успокоении».

Особенно недопустимо это «нежничанье» с жизнью для пролетлитературы. Пролетарские писатели должны водить и показывать вещи и отношения не в их «успокоении», а в движении, в развитии, со всеми противоречиями.

Попытки Чехова отразить жизнь, как она есть, вне связи с тем, как она должна быть, напоминают охоту за синей птицей в царстве теней. Писатель хватается синюю птицу за хвост, и каждый раз она ускользает из рук.

Скажут: но желая за сегодняшней жизнью видеть жизнь, как она должна быть, т. е. подчиняя конкретный материал определенной тенденции, вы настежь

открываете двери для субъективизма и рискуете потерять чувство реального. Ведь ваша постановка вопроса предполагает наличие какого-то субъективного критерия. Совершенно верно! Но этот субъективный (не личный, а классовый) критерий поддается объективному контролю.

Весь вопрос, не в том, что тенденция плоха, а в том, плоха или хороша сама тенденция.

«Плохая» т. е. исторически-реакционная тенденция мешает видеть жизнь в ее становлении и приводит к разрыву между идеалом и действительностью, — к разрыву, в котором поражение неизбежно терпит идеал.

«Хорошая», т. е. исторически-прогрессивная тенденция, выражающая идеологию молодого, поднимающегося класса, помогает познать жизнь в ее развитии. В этом случае действительность, понимаемая в узком смысле, «покояющаяся» в сегодняшнем дне, обязательно терпит поражение, ворча и скаля зубы отступает перед побеждающим идеалом.

Отсутствие тенденции есть лишь частный случай плохой тенденции, выражающейся в рабском преклонении перед внешней формой, официальным мундиром сегодняшнего дня.

Мы остановились сравнительно подробно на вопросе о «тенденции», потому что он имеет непосредственное отношение к проблемам советской литературы и острое злободневное значение.

Без определенной (и правильной, само собой разумеется) тенденции, резюмирующей цельное понимание эпохи, советский писатель не может сделать ни шагу в познании современной жизни. В нашей действительности столько противоречий и несоответствий, что писатель, поставивший перед собою задачу изобразить жизнь, как она есть, вне связи с тем, как она должна быть и как мы ее изменяем, запутает себя и других, будет блуждать, словно слепой котенок, наталкиваясь на острые углы.

Кризис современной попутнической литературы вызван обострением классовой борьбы и усилением давления буржуазно-кулацких слоев.

Обострение классовой борьбы в более резкой форме поставило вопрос о тенденции в литературе. Неудача многих наших писателей-попутчиков, так же как и некоторых пролетписателей, объясняется непониманием роли этой тенденции.

Враждебная нам тенденция, как бы ее ни прикрывали и ни запирали в литературных «особняках», выдает себя.

Писателю «без тенденции», который видит высшую объективность в словах поэта — «не знаю, что буду петь, но только песня зреет», мы отвечаем: если не знаешь, о чем будешь петь, то не пой. Отсутствие какой-либо определенной тенденции (пишу, на что глаза глядят, как увидел и как пишется), даже при соответствии отдельных зарисовок оригиналу (в точности срисовано, вот вам доказательство, а это скопировано, вот вам документ) приводит к грубейшим политическим промахам, и превращается в издевательство над действительностью. Ибо наша действительность — вся в становлении, в борьбе, в противоречиях. Выделить в ней основное с точки зрения нашей тенденции, очертить узловые пункты, найти ведущее начало, включиться в нее активной силой, а не как созерцатель — вот задача писателя. Чеховский подход — реакционный и неприемлемый вообще, в нашу эпоху дает осечку неизбежную и моментальную. Материал, собранный без всякого плана, рушится, погребая под своими развалинами автора. Беспартийная «объективность» превращается в собственную противоположность. Антитенденциозность на проверку оказывается плохой тенденцией.

В этом — общественный смысл чеховской годовщины. В этом — острота и злободневность встающих в связи с ней вопросов. По России 80-х и 90-х годов, в бездорожье эпохи прошел большой писатель с обнаженным древком вместо знамени. Мы должны резко очертить враждебные нам, исторически реакционные стороны чеховского творчества, разоблачить чеховские нотки в нестройном оркестре попутничества и произвести античеховскую прививку молодым кадрам пролетарской литературы.